



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

St.Petersburg Journal of Oriental Studies

**выпуск 6
volume 6**

Центр
"Петербургское Востоковедение"

Санкт-Петербург
1994

"Ши цзин" и Судьба

К 90-летию со дня рождения А. А. Штукина

М. В. Баньковская

В Энциклопедическом словаре (М., 1983) читаем: "«Ши цзин» («Книга песен»), памятник китайской литературы, содержит 305 песен и стихотворений, созданных в II—VI вв. до н. э. (ошибка на два века: нет произведения позднее VIII в. — М. Б.), отбор и редакция приписывается Конфуцию". О существовании русского перевода ни слова. Однако "Книга песен" известна широко, — не только востоковедам. Востоковед же (хотя, боюсь, не всякий) назовет и имя переводчика: А. Штукин. Ну, а если спросить востоковеда, во всяком случае, китаевода, кто такой А. Штукин, то услышите в ответ: переводчик "Ши цзина". Вот и все. Биобиблиографический словарь востоковедов (М., 1977) в его втором, дополненном издании дает лишь даты: жизни (1904—1964)*, окончания ЛГУ (1925), поступления на работу в московский КУТК, ЛВИ и ИВАН. Научный сотрудник кит. каб. ИВАН СССР с 1935 г. — это последняя дата, за ней точка, в которой искушенный сразу угадывает, так сказать, многоочие, а неискушенный может думать, что с 1935-го года и до конца жизни Штукин так и оставался научным сотрудником китайского кабинета Института востоковедения. Если бы было так, то к десятку перечисленных в словаре работ Штукина прибавилось бы еще несколько десятков переводов и исследований древней китайской поэзии. Действительность была другой, и о ней словарь молчит (будем надеяться, что в третьем издании "многоочие" будет заполнено). Молчат и предисловия к трем изданиям "Ши цзина" в переводе А. Штукина. Неудивительно, что китаеведы поколения 50—60-х годов уже не знают ничего о судьбе книги, стоящей на полке в ряду китайских классиков. *Nabent sua fata libelli* — "Книги имеют свою судьбу". Русский "Ши цзин" — "Книга песен" имеет одну из самых трагических (великих в своей трагичности!) судеб. Восстановить эту судьбу позволяют письма.

Алексей Александрович Штукин считал своим главным учителем Василия Михайловича Алексева, а потому, когда тот бывал в отъездах, писал ему, сначала из Ленинграда, потом из Москвы, а потом — с 1946-го — из Магадана, потом — из деревень и сел за сто положенных километров от крупных городов — от родного Ленинграда.

Алексеев сберег 32 письма (многие на нескольких страницах), теперь они хранятся в его архивном фонде (СПбФ АРАН, ф. 820, оп. 3, № 898). Ответы Алексева не сохранились — рукописи, увы, горят, а также изымаются при обыске. Если бы пропали и письма Штукина, новейшая история нашего востоковедения лишилась бы одной из самых, может быть, ярких и убедительных в своей конкретности страниц.

* Дата смерти неверна: А. А. Штукин умер в 1963 г.

В письмах Штукина прежде всего восстанавливается сама его личность, что существенней дотошной биографии. Также восстанавливается и историческая обстановка — не события, а запах, воздух того времени, в котором сталкивались, смешивались, боролись потоки созидательных устремлений с другими, теми, что сродни ОБ — отравляющим веществам (о них тогда говорилось всюду, не только в кружках ОСАВИАХИМА, но и в школах и даже в "красных уголках").

Главная тема писем — это, конечно, дела научные. Проблемы синологического перевода, которые волнуют Штукина, не потеряли своей актуальности и, видимо, претендуют на звание вечных. Я убедилась в этом еще раз, прочтя недавно в "Литературной газете" (8.VI.94, № 23) мысли Владимира Микушевича, полностью созвучные тем, что и в письмах. "Самое главное в искусстве перевода,— говорит Микушевич, — сознавать, что оригинал непереволим". Штукин сознавал это глубоко, так же как и Алексеев, и все китаеведы — переводчики с оригинала, а не с подстрочника. Говоря о невозможности передать ритм китайского стиха, Штукин приводит слова М. Л. Лозинского: "...переводчику приходится самому создавать себе закон". По письмам видно, с какой неукоснительной честностью Штукин создавал себе законы — строгие, строжайшие, по его собственной воле законы.

Можно было бы выделить синологическую тематику из общего житейского контекста писем — это помогло бы специалисту, но тогда бы "распалась дней связующая нить..." Поэтому я сохранила почти полностью все эпистолярное повествование, снабдив его кое-какими пояснениями. Сделанные мной купюры в тексте писем (повторы, несущественные моменты) отмечены отточием. Можно было, пожалуй, несколько увеличить число купюр, но от этого пострадал бы ритм этих, несмотря ни на что, неспешных, без вошедших у нас в привычку кустарно-стенографических сокращений и всякой вообще информационной скороговорки писем.

В письмах всегда имеет место то смешение тем и стилей, которое и есть сама жизнь, письма пишутся жизнью, в них "...дышат почва и судьба". Говоря о письмах Алексея Александровича Штукина, позволю себе перефразировать Пастернака: "...дышат «Ши цзин» и судьба".

Однако началом публикации послужили не письма, а документы другого рода — юношеские стихи будущего поэта-переводчика-китаиста*.

Сочинять стихи Алеша начал с десяти лет. Его по-детски трогательные строки на смерть девочки-соседки были выгравированы на могильной плите. Когда ему было 12, два его стихотворения были напечатаны в местной газете Печатного двора, где работал отец. Он учился в гимназии имени Петра Великого (на Большом проспекте Петроградской стороны), но в последних классах был переведен в школу на Церковной улице, переименованной в улицу Блохина. В эту школу приходил живший по соседству В. М. Алексеев читать популярные лекции и целые циклы лекций ("О языке", "Книга и чтение" и др.), задачей которых было: "Ввести в программы преподавания такие предметы, которые имеют назначение возбудить любознательность учащегося не из обывательских разговоров..." Любознательность была возбуждена, и несколько

* На документы из личных архивов А. А. Штукина и В. М. Алексеева ссылки не даются.

М. В. Баньковская. "Ши цзин" и судьба

ребят по окончании школы ринулись было изучать китайский язык, но вскоре отстали от этого дела — все, кроме Алексея.

Сохранились несколько стихотворений студента Штукина. Вот одно из лучших:

Из всех даров полуденного юга
Я в памяти на север унесу
Простую лодку, скользкую камсу
Да белый парус, легкий и упругий,
Горячим позолоченный лучом.
А эти горы синие, как льдины,
В прозрачный дым одетые долины,
Как дым изглядятся в мозгу моем...
Так часто в памяти мы бережем
О прошлом легкие воспоминанья:
Цвет платья милой в первое свиданье,
Все то, что мелочами мы зовем...
А все дары любви, прошедшей мимо,
В забвение уйдут тропой незримой.
Но почему?

Кроме такой лирики, не привязанной ко времени, есть и вполне привязанная к нему, т. е. к первым послереволюционным годам, поэма "Сомнамбула". Поэма имеет посвящение: "Олегу Вильчевскому за его прекрасные стихи". Олег Вильчевский — студент-иранист ЛВИ, на два года старше Штукина. В ту пору пишущих стихи было больше, чем не пишущих, во всяком случае среди студентов. На китайском отделении ФВЯ Штукин был уже третьим, так сказать, признанным поэтом (а были, конечно, и "непризнанные") — перед ним, на три курса старше, писали стихи всерьез Юлиан Щуцкий и Борис Васильев.

Эпиграф к поэме — из того же Вильчевского:

И Сомнамбула из меди,
Над Невой вздыбив коня,
Мертвым взглядом не заметит
Наступающего дня.

Историческая действительность все перевернула, переименовала. Смысл "наступающего дня" не заметили — не распознали — сомнамбулы из плоти, а не из меди. Даже сильные и зрелые умы, даже Блок, как известно, не избежал сомнамбулической завороченности: "Декреты большевиков — это символы интеллигенции". Действительно, в крови российских интеллигентов всегда была традиция революции, революционные лозунги воспринимались как свои заветные — те же слова о справедливом устройстве жизни. Конец старого мира, который чувствовали все, предвещал начало нового — разумеется, лучшего.

В поэме 5 частей. Сначала о граде, встающем из болот под "взором медного Владыки", дальше — о его свержении, в ритме откровенно напоминающем "Двенадцать":

Нам теперь всего дороже
С Медным Всадником расплата!
Пусть чекисты в куртках кожаных
Караулят императора.

...

В медный топот коня не поверит
Тот чиновник в рваных портках,
Потому что за мраморным зверем
Караулит Петра — Чека!

...

Богатырки — шапки верны,
Ленин, только кликни нас,
Мы под знаменем Коминтерна
Разобьем Деникина!

И после всего этого "гра-га-га" — обреченно грустный эпилог, о себе и Сомнамбуле медной:

Да, я тот, кто любил миражи,
Кто гляделся в эти глаза,
Мне в тумане вселенском даже,
От него не уйти назад...

...

Да, я помню, помню о Ленине,
Он сказал: нет больше владык!
И проклятье венчанному пленнику
Костенеющий шлет язык.
И я знаю, что в рдяном зареве,
В дымный вечер над сонной Невой
Упаду в золотое марево
На торцы повалюсь головой...

Выходит, уже тогда чувствовал, что не приведет к добру "любовь к миражам" — к поэзии, к культуре, к жизни самой, а не к революционным преобразованиям и декретам. Но и замороженность наступающим днем не отпустила. И в этом одна из причин того, что на бредовые 20 — 30-е годы пришлось столько талантов, столько свершений в каждой области знания — в востоковедении в том числе. "Замороженность, — пишет Л. Я. Гинзбург, — помогала жить, даже повышала жизненный тонус, она была подлинной искренней, — у массового человека и у самых изощренных интеллектуалов" [1, с. 137—138]. Прошли десятки лет, прежде чем стало легко решать, кто был сомнамбулой и что было миражем, но, независимо от этого, в самом названии поэмы юного Алексея Штукина какое-то предчувствие иррациональности надвигающейся эпохи и — своей судьбы. Если бы дать ему тогда кое-какие собственные письма из будущего "наступающего дня", не сразу бы, думается, разобрался, что в них явь, а что — фантазмагория.

Но поначалу все вполне рационально в письмах студента Штукина профессору Алексееву. Первое письмо — 1923 год, в Париж, где Алексеев в

совместной поездке с С. Ф. Ольденбургом (на пути в Лондон, где праздновалось 100-летие Королевского азиатского общества). Начинается, как положено письмам в Париж, с Елисейских полей и бульваров "любимого Вами города", затем — поучительное признание: "Работать мне стало гораздо легче — если не понимаю, то не отчаиваюсь, как раньше, а смотрю в текст, если не выходит — откладываю на время, а потом опять. Но какие все-таки мучения нужно перенести каждому синологу первое время... Приезжайте скорее, а то у нас никого не осталось... Последний номер "Востока" я нахожу лучшим из всех трех... самый лучший отдел в нем китайский, и Ваши переводы (Ляо Чжай) великолепны..." [2, л. 63*]. Как видно, Штукин читал все статьи в издаваемом Восточной коллегией при "Всемирной литературе" журнале, а не только свои, китайские, и это показательно: как школьников можно делить на тех, кто читает напечатанное в учебнике петитом, и тех, кто не берет на себя этот лишний труд, — так и дальше та же градация, даже для вполне "остепененных".

Окончив Университет в 25-м году, Штукин работал одновременно в двух библиотеках — ЛИЖВЯз и ЛГУ, с 9-ти до 9-ти, причем в университетской библиотеке разлеплял по страницам пострадавшие от наводнения 24-го года книги, плотая густую пыль плесени. Работал один, помочь было некому. "За ту и другую службу вместе — 96 р., что очень мало на двоих", — признается он в письме уже из Москвы [2, лл. 71, 72], куда перебрался весной 26-го, став ассистентом в Университете им. Сунь Ят-сена. На двоих, т. к. уже женат. "Здесь я устроился вполне прилично, получаю 200 р. (это вполне достаточно), а с осени буду получать 300. Правда, работа не очень интересная, главным образом над новыми текстами: гоминда-новские воззвания, etc. ...Я рассматриваю мою службу здесь как временную,



А. А. Штукин.
Архивная фотография (РНБ).

* Хронологическая последовательность в пагинации из архивного фонда во многих случаях неверна. Так и это самое раннее письмо попало в конец как не имеющее даты.

года на два на три, и по вечерам занимаюсь Мын Хао-жанем. Твердо намерен и впредь заниматься китайской филологией и вообще остаюсь самым верным Вашим последователем и учеником... Радек обошелся со мной очень любезно и приветливо, как впрочем и все остальные".

А в начале письма — момент личный и весьма характерный для Алексея Александровича: чувство достоинства он не смешивал с амбицией даже в молодые свои годы. Судя по всему, он получил от Алексеева грозный выговор за то, что, уехав в Москву, не вернул взятый им словарь "Цы юань", необходимый для аудиторных занятий, — очевидно, решил Алексеев, увез словарь с собой. Поступки такого рода приводили всегда и во всем обязательного Алексеева в негодование, и он мог сгоряча, не проверив, обрушить его с излишним пылом. Наверно, и тут было так, потому что Штукин пишет: "Я очень виноват перед Вами относительно Цы-юаня, но конечно не в такой степени, как Вы это написали, т. е. я бы никогда не мог увезти с собой чужую вещь. Я просто по свойственной мне рассеянности забыл его занести Вам, тем более, что Вас не было в Петербурге. Словарик лежит в моей квартире на Петроградской..." Дальше — соображения о том, как вернуть словарь, а в конце: "Помните, дорогой Василий Михайлович, что я любящий Вас искренно Ваш ученик и все Ваши письма и советы будут мне дороги". А мог бы встать в позу: как могли меня заподозрить?! И всему конец.

Достоин внимания и такой, тоже, что называется, личностный, момент в одном из следующих писем [2, лл. 75, 76]. "Виделся здесь несколько раз с Б. А. Васильевым. К стыду своему должен сознаться, что думал о нем хуже, чем он оказался. Скажу прямо, я считал его не совсем искренним человеком. После нескольких бесед с ним, я начал думать обратное... Он произвел на меня значительно лучшее впечатление, чем я о нем думал, я перед ним виноват". Покаяние, да и не в поступке каком-то, а лишь в мыслях... Нечто безнадежно устаревшее, увы.

Длинное, эмоциональное, трогательное письмо из Москвы в Пекин от 21 сентября 1926 г. [2, лл. 1, 2, 74]. Благодарит за весточку из Китая (ясно, что Штукин Алексеевым отмечен особо — избран в число корреспондентов), делится радостью — родилась дочь Наташа, и тревогами — жизнь в Москве вполне неустроенная, живут в Подмосковье. Отцу семейства 22 года: "Хотелось иметь свою семью, лучше раньше иметь ребенка, чтобы возможно дольше быть ему поддержкой... Простите меня, дорогой Василий Михайлович, за всю эту болтовню, но Вы всегда были другом и наставником не только в синологии, и вообще наша личная жизнь всегда переплетается с академической". Дальше — вопросы о Китае. "Как дела в Китае (не политические, конечно, о них я осведомлен)? Насколько глубок по Вашему мнению тот культурный сдвиг, который произошел за последние годы? Что теперь из себя представляет китайская интеллигенция старого типа? Как вообще обстоит дело с китайской культурой (конфуцианство etc.)? Я об этом кое-что слышу и сам наблюдаю, но хотелось бы получить сведения от Вас, ибо только человек, действительно глубоко знающий старый Китай, может оценить новый. Кстати, как Ваша книга, которая должна была быть выпущена весной? Я перечитывал недавно «Монахов-волшебников» и у меня возникли кое-какие мысли".

Мысли относительно алексеевских переводов Ляо Чжая, заполнившие две большие страницы, — хвала и откровенная критика, т. к. Штукин со студенческой скамьи привык "не церемониться": обоюдная открытость критике была одним из главных принципов преподавания, Алексеев прежде всего ценил самостоятельность оценок. Книга, которая должна была выйти весной 26-го (вышла в 28-м), — "Странные истории". К этому сборнику новелл Пу Сунлина в переводе Алексеева, так же как и к "Монахам-волшебникам" (1923) Штукиным были составлены подробные, придирчивые замечания на многих листках, которые Алексеев хранил в конверте с шифром своей картотеки. Критическое сличение переводов с текстом оригинала началось еще в Университете — Алексеев давал такие задания студентам старших курсов. В своем письме Штукин ссылается и на вопросный листок, с которым Алексеев обращался ко всем знакомым читателям Ляо Чжая, желая выяснить, как воспринимается эта "китайщина". Ставя себя на место не причастного к китаистике человека, Штукин ратует за строгое ограничение в составе сборников таких новелл, как "Остров блаженных людей" (в "Монахах-волшебниках"), тонкие остроты которых требуют для не знающего иероглифики слишком сложных пояснений, "а Ляо Чжай — это все-таки книга для чтения не слишком серьезного... Это, грубо говоря, высоколитературное изящное озорство, оно должно быть красивым и вместе с тем легким". (Однако новелла "Лиса острит", введенная Алексеевым в "Странные истории", и ей подобные не отпугнули читателей и, как показало время, не отпугивают и ныне.)

Это же письмо содержит и критику другого рода — в адрес Виленского-Сибирякова, которого, кстати, критиковал сердито и Алексеев. Браня примечания этого китаиста к книге Сунь Вэня, всегда корректный Штукин изменяет обычной своей сдержанности: "Мне кажется, нужно отличаться крайней наглостью и незнанием дела, чтобы сморозить что-нибудь подобное".

Переводом Сунь Вэня занимался и Штукин по заданию Университета, а также участвовал в переводах всего собрания сочинений Сунь Ят-сена, которые шли в самом спешном, как водится, темпе. Жалуясь на такую гонку в работе, Штукин вскользь упоминает и об ужасных квартирных условиях, в которых оказался: "Уже полтора месяца живу в общежитии в одной комнате с 12-ю китайцами. Жену и дочку пришлось отправить в Ленинград" [2, л. 75].

Судя по письмам, научные интересы Штукина неизменно оставались вдалеке от всех этих актуально политических (хотя прямых жалоб на них нет). В 26-м году он пишет: "Я сейчас работаю над кое-какими материалами из «Цянь Хань шу» и весьма доволен, т. к. текст хороший" [2, л. 3]. "Летописный свод первой династии Хань" — так переводил Алексеев это название династийной истории Бань Гу, почитаемого, как и Сыма Цянь, родоначальником самого жанра традиционной китайской историографии. Какой перевод названия был принят Штукиным, неизвестно — в письмах только иероглифы. Спустя недолгое время, Штукин с сожалением сознается: "Пока прекратил свои занятия Ханьской историей, осенью опять за нее примусь. При переводе я не руководствовался всеми требованиями филологии в смысле сохранения стиля языка и позволил себе вводить новые иностранные слова, т. к. ставились исторические, а не филологические цели и потому главным считалась точная передача

терминов" [2, л. 76]. 2 февраля 1929 г. Штукин как бы подводит итог первому этапу своей работы: "Хочу немного поговорить о своем переводе экономического отдела «Цянь Хань шу». Не знаю, как он Вам понравится и насколько он верен, но я потрудился над ним немало и, кажется, сделал все возможное. Перевод в настоящее время мною почти закончен, осталось 10 китайских страниц, работа по европейским источникам (гл. обр. по Шаванну) также уже начата, т. обр., проделана примерно половина работы" [2, л. 6]. О некоторых взглядах Шаванна на "Хань шу", высказанных на лекциях в Коллеж де Франс в 1904 году, Алексеев упоминает в "Заметках об изучении Китая в Англии, Франции и Германии" [см. 3, с. 80], о том же, но, конечно, подробнее, говорил он и в своих лекциях, которые слушал Штукин. Судя по письму, Штукин готовил перевод-исследование глав "Хань шу" для защиты (до него никто за перевод этого источника не брался). Была ли работа завершена — неизвестно, неизвестна также судьба рукописи. Возможно, что ее постигла участь всех бумаг и книг Штукина, погибших во время блокады*.

О научной ориентации Штукина в бытность его в "университете Суня" говорит и брошенное вскользь замечание: "В Москве я пропагандирую изучение китайской культуры (Конфуций etc.) и кажется имею некоторое влияние на 2—3 человек". Скорей всего, подобная пропаганда не встречала одобрения у руководства и не могла способствовать карьере. В одном из писем — некий "симптом": пропало письмо Алексеева, и Штукин по этому поводу пишет успокоительно: "Беспокоиться нам нечего, наши письма лояльны во всех отношениях, а потому и такая проверка моей или Вашей личности совершенно для нас безопасна" [2, л. 65]. Но мысль уже работала в этом направлении.

Основная тема в последних письмах из Москвы — встречные хлопоты о переводе Штукина "домой" — в ЛВИ. На пути возникали все новые бюрократические осложнения, такие проблемы, как получение квалификации, плюс ко всему постоянная угроза воинского призыва. Алексеев старался помочь в прохождении разного рода формальностей, за что в письмах постоянная благодарность и извинения: "...Работой в Ленинграде постараюсь всецело оправдать Ваше доверие". С августа 1928 г. Штукин — сотрудник ЛВИ: ассистент, потом доцент, зав. китайским кабинетом.

В письмах начала 30-х (их всего два) [2, лл. 58—61, 77] подробно говорится о трудностях в составлении учебных планов: больно уж неравны были преподавательские силы, и рядом с Ю. К. Щуцким и Б. А. Васильевым имена совсем другого сорта. Ориентация Штукина совершенно ясна: просит содействовать его назначению в группу Щуцкого — "с Ю. К. мы работаем". (Приветы и поклоны Ю. К. и во всех московских письмах.)

Странно встречать в нынешних статьях утверждение, что "шестая на грани 20-х и 30-х годов «академическая чистка» сравнительно мало затронула ведущих востоковедов, их деятельность признавалась актуальной и нужной..."

* В Рукописном отделе Российской Национальной библиотеки (бывш. ГПБ им. Салтыкова-Щедрина) имеется фонд А. А. Штукина (ф. 873). О существовании его я узнала из письма с Тайваня от Б. Л. Рифтина — самого, по моим наблюдениям, внимательного к таким вещам китаеведа из ныне здравствующих. В деле № 7 находятся различные материалы к древней истории Китая (период Хань) с намеченным Штукиным планом работы. Но перевода глав "Хань шу", к сожалению, нет.

[4, с. 77]. Так пишет В. М. Алпатов в статье о Н. А. Невском, опубликованной в "Известиях АН" в 1993 г. А вот что можно прочесть в журнале "Даешь" за 1929 г.:

Профессорская братия
 вроде Ольденбургов
Князьям
 служить
 и сегодня рада.
То,
 что годилось
 для царских Петербургов,
Мы вырвем
 с корнем
 из красных Ленинградов.

[5, с. 450]

Это говорит великий поэт — и великая жертва сомнамбулизма.

"Профессорская братия" представлена в докладной записке о работе ЛВИ за подписью секретаря парторганизации института, 1930 г.: "За истекший период в Институте имела реакция группа буржуазных ученых — академиков и профессоров (акад. Алексеев, Крачковский, Владимирцов, Бартольд, Щербатской, проф. Ромаскевич). Эта группа 2 года тому назад группируя вокруг себя молодых лингвистов, занимала господствующее положение в преподавании восточного языка, пользуясь своим руководством подчиняла ему страноведческие дисциплины... используя все это для передачи своих буржуазных взглядов и теорий студенчеству. Борьба с ними, начатая несколько лет (назад) с особенной силой и резкостью продолжалась за истекший период. За 2 года Партколлектив вместе с руководством провел следующие мероприятия: а) вся буржуазная профессура и часть псевдо-марксистской была удалена от преподавания страноведческих дисциплин. Из псевдо-марксистской профессуры были оставлены за неимением замены Штейн и Кюнер. Частью заменены, а частью отстранены совсем из ВУЗа — Грум-Гржимайло, Щербашкой, а частью используются исключительно по языковой линии" [6, лл. 54—57].

В чем была суть борьбы с "реакционной профессурой", сжато и вместе с тем, несмотря на сюжет, увлекательно объяснено в статье Я. В. Василькова, посвященной судьбе Ф. И. Щербатского — мировой известности ученого буддолога, который в 30-е годы "использовался исключительно по языковой линии". "«Методологические» претензии к «старой профессуре» сводились к требованию отказаться от изучения классических культурных традиций, переключиться полностью на занятия современной экономикой и политикой, историей национально-освободительных движений и т. д. Такие академические «зубры» как Ф. И. Щербатской, С. Ф. Ольденбург или В. М. Алексеев, требовательные к ученикам и сотрудникам, способные едко высмеять амбициозного невежду, стремившиеся не допустить девальвации высоких академических стандартов, с самого начала стали, разумеется, излюбленными объектами идеологических «проработок»... Все громче звучали голоса, объявлявшие изуче-

ние древних культур Востока делом бесполезным и «реакционным»... С 1929 г. в масштабе всей страны было прекращено преподавание древней истории и классических языков..." [7, с. 202, 203].

Вот в такой обстановке окончательно складывалась научная личность и определялось направление научного творчества А. А. Штукина, кстати, самого молодого преподавателя ЛВИ. Особый упор в этой идеологической вакханалии делался именно на "вопрос о молодежи в рядах реакционного востоковедения". В статье, опубликованной в 1931 г. в журнале "Проблемы марксизма", провозглашалось патетически: "Многие из молодых востоковедов, которые были раньше в рядах реакционного востоковедения, отходят от знаменосцев последнего и переходят в лагерь активных борцов за марксистско-ленинское востоковедение, борясь со своими бывшими учителями. Но все же надо отметить, что одиночки еще остались... Нам нужно бороться за каждого поддающегося переработке востоковеда, в особенности молодежи" [8, с. 217].

Несомненно, "боролись" и за Штукина, тем более, что у него и анкетные данные хорошие — отец был рабочим. Конечно, старались "переработать" так, чтобы "боролся со своими бывшими учителями" — Алексеевым конечно, в первую очередь ему в статье уделено внимание.

В 31-м году скоропостижно умер Б. Я. Владимирцов. К этому году относится дневниковая заметка Алексеева: "Я вижу, как моя жизнь, подготовленная к принесению наибольшей пользы, дискредитируется и делается принудительно пустой. От этого сознания умер Б. Я. — это мне известно".

С 1933 г. директором ЛВИ стал М. И. Амагаев, только что закончивший Институт красной профессуры, а до того занимавшийся, так сказать, практической революционной деятельностью в МНР — проводил террор, закрывал монастыри. Ю. К. Щуцкий потихоньку распевал на мотив "Шар голубой" куплеты о ЛВИ:

В домике этом открыт институт,
Там дефективные детки растут,
Там Амагаев над всеми царит,
Это не ректор, а просто пандит.

Пандит — в Индии почетный титул традиционного учителя, вроде китаяского сяньшэна, так что и придраться вроде бы не к чему.

Очевидно, где-то в начале 30-х определилась для Штукина труднейшая, но и увлекательнейшая задача: поэтический и вместе с тем научно достоверный перевод древнего "Ши цзина" — легко предположить, что его поэтической натуре этот древний памятник был ближе, чем "Хань шу". Несомненно, столь ответственное, а стало быть, и рискованное предприятие было одобрено Алексеевым.

"Ши цзин" всегда был близок сердцу Алексеева (в сборнике его статей "Китайская литература" он упомянут 53 раза, в "Науке о Востоке" — 20). Он сам учился на трудном тексте "Ши цзина", расшифровывая по толкованиям китайских комментаторов его экзотические иероглифы, с "Ши цзина" начинал затем и свой университетский курс стихотворной поэзии — читал со студентами стихи разных эпох, но "Ши цзину" отводил место особое. После

1930 г. мог включать чтение классической поэзии лишь эпизодически, но Штукин учился в 20-е годы и слушал курс еще полностью. В 1920 г. в статье "Китайская литература" (для издания "Литература Востока", которое выпустила "Всемирная литература"), приступая к теме о китайской поэзии, Алексеев писал: "Мы начинаем с древней классической поэзии, собранной Конфуцием в одну книгу («Ши цзин»), которая легла в основу всей будущей китайской литературы и образования на два с половиной тысячелетия. Перед читателем пройдут простые песни древних удельных поселян, которые, по мнению Конфуция, отражали как верное зеркало «нравы царств» и их правителей. За ними пойдут пышные оды царедворцев и правящей аристократии и, наконец, торжественные гимны обожественному царю, распеваемые в храме предков, наполненном толпою придворных властителей и воевод. Читатель узнает в древнем китайце все того же мятущегося человека с его чувством любви, дружбы, благоговения, гордости и величия, но увидит все это в архаичной обстановке сложного культурного уклада жизни, столь религиозно чтимой всею китайской литературой" [9, с. 58—59]. Так Алексеев писал, так и читал студентам, среди которых был Алексей Штукин. Теперь, десять лет спустя, Алексеев был рад поддержать своего талантливого ученика в столь важном начинании.

Работая над "Ши цзином", Штукин постоянно советовался с Алексеевым. В письме предположительно 37-го (даты нет) [2, лл. 67—70] он отвечает на замечания Алексеева по поводу введения к "Книге песен": "Я просмотрел Ваши замечания, многие из них совершенно справедливы, но со всеми я согласиться не могу. Я считаю свое предисловие научно-популярным, пожалуй, компромиссным в этом отношении, но основанном все же на некотором знании предмета. В нем много чужого, но основная мысль — моя, мысль о необходимости применения при определении подлинности (или, если хотите, степени подлинности) конфуцианских книг и — вместе с другими — социологического анализа. Как я думаю, ближе всех к этому подходил Шаванн, но не сделал из своих наблюдений обобщающих выводов; указывая, например, на фальсификацию «древнего текста Шуцзина», он не сказал, в каком направлении должна была идти модификация текста. Сделав сноску к эдикту Цинь Шихуан-ди и сноску очень остроумную, он не сделал из нее вывода дальше..." Затем следуют возражения на замечания Алексеева, как всегда в таких случаях — прямые и безбоязненные: "Вы пишете, что некоторое влияние (я ведь не утверждаю этого, а только делаю догадку) китайской поэзии на персидскую (хотя есть целый ряд сходных моментов в форме стиха, я это выяснил у иранистов: порядок рифмы и строк в четверостишиях, цезуры и пр.) — химера". Штукин остается при своем мнении-догадке и в дальнейшем, через 20 лет, в послесловии к "Ши цзин. Избранные песни" (1957) читаем: "Нам кажется, что было бы полезно рассмотреть, например, поэтическое творчество народов Средней Азии и Ирана с точки зрения наличия в поэзии этих народов моментов сходства с китайской поэзией. Не бросится ли в глаза в этом случае тот факт, что столь распространенная манера рифмовать строки по типу «а, а, б, а» в поэзии этих народов полностью сходится с наиболее обычной китайской системой рифм и что зачин в персидских четверостишиях и их структура также сходится с зачином и структурой четверостиший китайских? А если это

так, то при наличии сношений Китая со странами Средней Азии в древности и в средние века диапазон влияния «Книги песен», быть может, был гораздо шире, чем мы до сих пор предполагали" [10, с. 276].

Работа над "Ши цзином" шла полным ходом. В 1938 г. в "Книжных новостях" Алексеев мог уже с уверенностью пообещать советским читателям выход перевода в скором времени: "Академия наук СССР готовится к изданию знаменитый сборник древних народных песен Китая, торжественных придворных од и гимнов (Ши-цзин), отредактированных в начале V века до н. э. Конфуцием. Издание будет четырехтомным. Это первый на русском языке полный перевод знаменитой классической книги, но он же явится и первым во всей мировой переводной литературе с китайского по своим достоинствам. Перевод А. А. Штукина, в котором издается сборник, сочетает отличное знание древнего китайского языка с большими поэтическими достоинствами, блестяще передающими подлинник. Первый том «Песни древнего китайского народа» (Го фын) уже сдан в печать. Остальные томы: «Малые оды» (Сяо Я), «Большие оды» (Да Я) и «Гимны» (Сун) находятся в оформлении. Издание будет иллюстрировано снимками с китайских археологических реалий и китайскими рисунками" [11, с. 19].

Человек, как говорится, предполагает, Бог — или кто-то другой? — располагает. В 1936 г., когда Штукин был сотрудником ИВ, в институт пришел тюрколог Хасан Муратов — сразу на должность ученого секретаря. В одном из документов этого года за его подписью говорится: "...акад. Алексеев, не давший советской науке и родине ни одной ценной и полезной работы, давший лишь политически вредные, лженаучные труды; не помогавший делу воспитания советских молодых кадров, поддерживающий самых мерзких типов из среды научных работников китаистов — типа Васильева, Щуцкого, Невского, Штукина, Осипова..." [12, л. 29]. В октябре 1937 г. Штукин был уволен из ИВ, другие "мерзкие типы" — Щуцкий, Васильев, Невский арестованы и расстреляны в 37-м и 38-м, Осипов отправлен в ИТЛ. В 1938 г. академик-секретарь ООН АН Деборин благодарил Х. Муратова за успешно выполненную работу "по очищению Института от враждебных элементов".

К 37-му, очевидно, году относится такой любопытный — и трагический — документ из архива Алексева: составленное под его, конечно, руководством оглавление альманаха "Восток" на 1938 г. В 1925 г. по воле Госиздата было закрыто издательство "Всемирная литература" и перестал выходить тот "Восток", все пять номеров которого внимательно читал и рецензировал в своих письмах студент Штукин. Алексеев не мог смириться с отсутствием необходимого для востоковедного дела периодического издания и непрерывно добивался его возобновления. Как только забрезжила какая-то, видимо, надежда, за нее ухватились и китаисты, и японисты. В оглавлении 2 раздела: Китай и Япония. Предисловие к первому Б. А. Васильева, первым номером стоит: "Ши цзин. Перевел А. А. Штукин". Легко представить, как окрылен был Алексей Александрович — его перевод, над которым он увлеченно трудился, уже означен, уже принят в сборник! И компания коллег — участников сборника самая отменная: Васильев, Щуцкий, Алексеев, Рудов, Невский, Холодович, Глускина, Колпакчи. Из этих девяти ученых в 38-м останутся "на

воле" трое, трое — в их числе Штукин — будут в заключении, трое будут уничтожены.

А. А. Штукин был арестован 31 июля 1938 г. Затем — год тюрьмы и приговор: 5 лет ИТЛ. Война удлинила срок на два года, лишь в сентябре 1946 г. он был освобожден из лагеря, но с запрещением жить в крупных городах — стал, как тогда говорили, "минусистом".

И вот первое письмо Алексею из Магадана, 21.IX.46 [2, лл. 8, 9] — 20 лет, день в день, спустя от того полного надежд и юного энтузиазма письма, в котором он сообщал о рождении дочери, 8 лет с тех пор, как Алексей печатно посулил рождение русского "Ши цзина" в переводе А. А. Штукина. "...Восемь лет прошло с тех пор, как обрушившееся на меня несчастье, поверьте — совершенно неожиданное для меня, увлекло меня на Колыму". Удивительна эта неожиданность, ведь кругом исчезали один за другим, "брали" прямо из-за рабочего стола. 3 августа 37-го отыскивали Щуцкого в деревне Питкелево, в хибаре, снятой на лето, чтобы Юлиан Константинович мог перевести дух после триумфальной защиты своей докторской диссертации — перевода-исследования "Ицзина". Когда вошли в избу, он работал за дощатым столиком. И Николай Александрович Невский работал, хотя время было позднее, в доме по улице Блохина, когда позвонили с парадной. "Не убирайте со стола, — сказал уводимый на смертную муку, — через несколько дней вернусь". Что-то об этом должен был слышать Штукин, но все равно — "неожиданное несчастье". Удивительно, но так естественно для человека, не знающего за собой никакой вины.

...Находясь в заключении, я не рисковал писать Вам по вполне понятным причинам. Теперь, когда это кончилось, я решил прежде всего обратиться к Вам, т. к. несмотря на все свои невзгоды, я сохранил руки, ноги, а главное — нетерпеливое и упорное желание работать. Мне бы хотелось начать с того самого места, на котором моя работа была прервана, т. е. вновь приняться за стихотворный перевод "Книги гимнов и песен", а затем взяться за ритмический перевод "Шу-цзина", который, я в этом убежден, по литературным качествам оказался бы не из последних. Впрочем, в моем положении любая синологическая работа, предложенная мне, вполне бы меня удовлетворила. Однако, мое пребывание в Магадане препятствует мне за дальностью расстояния заниматься китайским языком и литературой. Проживая в 100 км. от Ленинграда и систематически посещая его, я смог бы работать по договорам и во всяком случае заниматься переводами, имея необходимые пособия, которые совершенно невозможно перетащить сюда. <...> Поэтому я прошу Вас помочь в моих хлопотах по выезду, т. к. Дальстрой испытывает большую нужду в кадрах и крайне неохотно дает разрешение на выезд, хотя я и имею на это все права. Прошу Вас совместно с

Николаем Иосифовичем Конрадом ходатайствовать перед УС-ВИТЛом МВД и Отделом кадров Дальстроя о скорейшем предоставлении мне выезда на материк (это выражение здесь официально принято), указав, что я являюсь специалистом по китайскому языку и литературе <...>, имею ряд работ: тайпинские документы, статья против теории об азиатском способе производства, 23 статьи для Литературной энциклопедии, переводы Лу Синя (в трех сборниках), перевод I и II частей "Книги гимнов и песен". Всего этого можно не перечислять, прошу только указать на последнюю работу и, если возможно, цитировать хотя бы частично Ваш печатный отзыв о ней.

Печатный отзыв — приведенная выше заметка Алексева в "Книжных новостях". Штукин не мог знать, что в это время Алексева надеялся на выход в печати его большой обзорной статьи "Советская синология", которая также содержала отзыв о переводе двух первых частей "Ши цзина" — на этот раз анонимный. Алексева готовил статью сначала к 20-летию советской власти, потом исправлял и дополнял к 30-летию. Статья была "зарублена" — явно не марксистская, а кроме того, цензоров настораживало отсутствие фамилий ученых, о трудах которых шла речь. Алексеву такая анонимность позволяла говорить об "именах одиозных", их не называя. Так и о Штукине и его труде: "...значительная часть «Книги гимнов, од и песен» («Ши цзин») отделана в виде русского поэтического перевода, впервые сообщаящего русскому читателю правильное, живое и художественное впечатление от великого произведения китайской древности. Исполнение этой очень трудной задачи мы поручили синологу с поэтическим чутьем и поэтическим умением, который действительно с задачей справился" [3, с. 145—146]. В то время, когда писались эти строки, "синолог с поэтическим чутьем" был эзком ГУЛАГа.

Теперь уже не ээк, но "минусист" Штукин жаждет найти место где-нибудь в ста сакральных километрах от родного города, просит как подаяния любой работы, чтобы как-то существовать — и продолжать перевод "Ши цзина". Следующее письмо — 19.IX.46 [2, л. 10].

...Извините, что я вновь беспокою Вас, но вопросы, с которыми я к Вам обращаюсь, слишком для меня существенны. Вы же всегда и неизменно оказывали мне в прошлом поддержку и помощь. Я слышал от П. Е. Скачкова, что П. И. Воробьев по-прежнему является директором Института Востоковедения. Если это так, то я прошу Вас обсудить с ним возможность возобновления договора на перевод Ши цзина...

Снова удивление — жуткое: маньчжурист Павел Иванович Воробьев, зам. директора ИВ в 34-м — 36-м годах, расстрелян 24 ноября 1937 г. В этот день были расстреляны в Ленинграде девять востоковедов, среди них Николай Невский и его жена Исоко Мангани, Борис Васильев... Неужели не будет впечатан в историю науки о Востоке этот день?!

Одно из самых пронзительных писем Штукина оказалось на дне архивной папки как не имеющее даты [2, л. 79—80], но по содержанию ясно, что оно — из первых магаданских писем.

...Упорно хлопотал, но несмотря на имеющиеся у меня права на выезд, мне в нем было отказано по крайней мере в навигацию с. г. Очень бы хотелось знать: пожелает ли Институт Востоковедения вступить со мною в договорные отношения и сможет ли обеспечить меня работой и организовать вызов в Ленинград? <...> Все мои книги и рукописи погибли во время блокады. Сохранился ли у Вас или у Николая Иосифовича Конрада мой перевод первого тома? Мой экземпляр погиб. Я очень стосковался по работе синолога, и даже если первая часть погибла, думаю, что в течение 8—10 месяцев я сумею дать новый полный перевод, память у меня сохранилась прекрасно, и, имея под рукой текст, я быстро восстановлю первую часть перевода и половину второй. <...> Не могли бы Вы содействовать отправке почтой в Магадан словаря Куврера, маленького Цы-юаня, Ши-цзин Чжу Си цзи-чжу и соответствующих томов Легга? <...> Я работаю зав. библиотекой и переводчиком техн. текстов с англ. языка, меня никто не беспокоит с утра до вечера, была бы только работа. В 103 км. от Магадана живет П. Е. Скачков, работающий зав. аптекой. Я его лично не видел, но говорят, что и он мечтает о востоковедной работе. Жизнь здесь идет почти по Джеку Лондону, но во-первых я не обнаруживаю в себе никакой авантюристической складки, и во-вторых север в романах гораздо лучше, чем в действительности. Если бы Вы только могли себе представить, что значит проработать на воздухе 10—12 часов при -56° , как это мне часто случалось в тайге. В вечномерзлотную шахту, в которой только -8° ,ходишь после этого почти как в натошленную комнату. Слава Богу, что это уже в прошлом.

Письма Алексеева, как уже говорилось, не сохранились, но по репликам Штукина видно, как непросто было вызволять его из этого вечномерзлотного Дальстроя. Поначалу, казалось, дело пошло, письмо от 14.1.47 [2, л. П] звучит обнадеженно.

...Вчера получил Вашу телеграмму. Разрешите выразить Вам свою самую искреннюю и глубокую благодарность за Ваши хлопоты... Вы делаете для меня чрезвычайно много — возвращаете меня и к моей любимой девочке и жене, по которым я сильно стосковался, и к моей работе, к которой я также стремлюсь вернуться очень нетерпеливо... Навигация начнется здесь в конце

мая, следовательно я могу рассчитывать прибыть в Ленинград к концу июня, началу июля... Шесть месяцев, которые отделяют меня от личного свидания с Вами, это уже немного в сравнении с тем временем, которое прошло для меня так бесплодно! Мне особенно приятно будет работать под Вашим руководством, т. к. только здесь, далеко от жизни я смог оценить ту огромную роль, которую Вы сыграли в синологии, показав своими изумительными по художественной выразительности и глубине мысли переводами всю мощь китайской культуры. Лишь здесь я понял, что истоком моего и других Ваших учеников отношения к древней китайской литературе были Вы и что еще когда бы мы преодолели то косноязычие в китаистике, которое было до Вас! Поэтому мне теперь особенно приятно будет работать вместе с Вами.

Читая письма Алексея Александровича, одно за другим, как книгу его жизни, не раз возвращаешься к старой и грустной истине: какое благо, что нам не дано заглянуть в конец этой своей книги. Да, ему будет возвращено право жить в своем городе, и он вернется в Ленинград, но только через 8 лет и тяжело больным, но Алексеева не будет на свете. А пока, в Магадане, Штукин, того не зная, счастлив надеждой, полон планов и соображений, которыми не может не поделиться. Следующее письмо — через неделю [2, л. 13—16]:

...Ваша телеграмма дает мне смелость думать, что в Институте Востоковедения мне не будет отказано в работе, по крайней мере договорной. Я со своей стороны не имею никаких претензий и буду безоговорочно выполнять любую работу, какая только будет мне поручена. Но, не имея претензий, я, конечно, имею свои пожелания и соображения о том, какую работу я мог бы лучше всего выполнить. Как я слышал, директором Института является В. В. Струве, взгляды которого на древнюю историю Китая во многих пунктах (как это выяснилось из наших бесед) совершенно совпадали с моими. Поэтому очерк по древней истории Китая для готовящейся к изданию Академией наук "Всемирной истории" был поручен им мне... Василию Васильевичу хорошо известно, какую огромную ценность представляет как для историка, так и для литературоведа Ши-цзин, и я уверен, он поддержит мое предложение о полном стихотворном переводе Ши-цзина. Я предлагаю стихотворный перевод, потому что не хочу снижать литературной значимости Ши-цзина (да и люблю это дело и буду совершенно счастлив им заняться), но мною будут приняты все меры к тому, чтобы почти полностью сблизить его с точным, а учитывая аппарат примечаний, в кото-

рых будут оговорены малейшие отклонения от текста, мой перевод совпадет с точным переводом. Аппарат примечаний я думаю расширить, введя в него то, чего не доставало для историка, т. е. указания на дошедшие до нас через Ши-цзин пережитки родового быта и устройства, экзогамного группового брака, рабовладельческие отношения в одних княжествах и завязывания и развития феодальных в других и т. д. и т. п. Ко всему будет предпослано введение, дающее оценку Ши-цзина как исключительного по значимости древнейшего литературного и исторического памятника.

Что касается условий, которые я считал бы наиболее для себя желательными, то они таковы: исходя из того, что договором, заключенным со мною в 1937 г., вся работа по переводу первой части оценивалась в 10.000 руб., я считал бы справедливым гонорар за перевод всех четырех частей, введение и примечания — 24.000 руб. (учитывая, что и зарплата теперь несколько поднялась, и что ведь четыре части). Работу я берусь выполнить за год. Мне желательно заключить договор не с издательством, а непосредственно с Институтом, т. к. издательство выплачивает гонорар по сдаче работы, мне же необходимо будет на эти деньги жить. Поэтому я просил бы разделить гонорар на 12 частей и выдавать мне его ежемесячно по представлению соответствующего количества глав перевода. Думаю, что для редакции это также будет удобнее. Второе мое пожелание: не оговаривать в договоре листаж и количество строк, т. к. все мои усилия будут направлены к тому, чтобы перевод был возможно более сжатым, китайская строка укладывалась бы в русскую и архитектура китайского стиха была бы сохранена. Было бы нелепо, если бы эти мои усилия компенсировались бы снижением гонорара. Объем же Ши-цзин'а хорошо известен. Если мои предложения будут приняты, я обязуюсь в течение этого года никаких других поручений не брать и все свое время с утра до вечера отдавать только этой работе. ...Датой начала действия договора я предложил бы 1 августа с. г., т. к. к этому времени я твердо рассчитываю быть в Ленинграде. Прошу не считать эти мои пожелания какими-либо претензиями с моей стороны. Повторяю, что я готов принять любую работу на условиях, которые мне предложит Институт, я готов заранее принять условия Института и только предлагаю то, что считаю наилучшим.

Шли месяцы, все в том же Магадане, медленно и томительно. Но воля к жизни, поистине джеклендоновская, не изменяет Штукину, он продолжает

искать пути возвращения к жизни — к "Ши цзину". 11 июня доползает письмо Алексеева от 3 января. Очевидно, в нем шла речь о работе над большим китайско-русским словарем, для которой катастрофически не хватало кадров, и Алексеев, судя по всему, хотел использовать этот момент как рычаг, чтобы добиться от руководства решительных действий к возвращению Штукина в поредевший от репрессий, войны и блокады китаеведный строй. В ответном письме [2, л. 20—23] Штукин, конечно, одобряет идею словаря, но продолжает искать еще и другие рычаги.

...За работу над словарем я примусь с удовольствием и постараюсь быть полезным по мере своих сил... К сожалению, я не имею здесь ни одного клочка китайского текста, чтобы проверить себя, насколько я забыл китайский язык, но достал японскую газету и убедился, что она мне понятна <...> французский и английский я почти не забыл и перевожу с них легко. Объясняется это вероятно скудостью новых впечатлений, что естественно в той обстановке, в какой я был все эти годы. <...> Вообще, жизнь в постоянном окружении себе подобных развила во мне замкнутость и нелюдимость, и все, к чему я стремлюсь теперь — это повидать немногих близких мне людей и целиком отдаться работе. Я пытался вырваться отсюда, но неудачно, по крайней мере сейчас вызов необходим. Если Вас не затруднит, переговорите, пожалуйста, с Вас. Вас. Струве и Ив. Ив. Мещаниновым, которые относились ко мне прежде очень хорошо, и если они не откажутся поставить под вызовом и свои подписи вместе с Вашей, заверив их в секретариате Лен. учреждений АН, я уверен, что успех будет обеспечен, тем более, что Мещанинов кроме своего высокого ученого звания еще и депутат Верховного Совета. <...> Кстати, мой друг (мы с ним сблизились в период с 1943 по 1946) Ю. Г. Оксман работает в настоящее время в Саратовском университете, выбрался он отсюда с помощью И. И. Мещанинова. Может быть, и меня возможно устроить в какой-либо филиал или базу Академии с тем, чтобы я работал по плану и заданиям ИВ. Широта и долгота места для меня совершенно безразличны, будет ли это Казахстан, Минусинск или Сахалин — все равно. Я мог бы приехать в Ленинград, нагрузиться материалами для работы по словарю, если можно — прихватить Ши-цзин, и отправлять переработанные материалы почтой, и хотя бы раз в год приезжать для отчета, а года через два вернуться в Ленинград на постоянную работу <...> Я хочу перевести литературно Ши-цзин, Шу-цзин и затем постепенно перейти к более поздним памятникам древней китайской литературы. Хотелось бы написать кроме того несколько статей по конфуцианству,

огромное прогрессивное значение которого для древнего Китая для меня ясно, хотя я и не верю в подлинность Лунь-юй'я и особенно Чжоу-ли (хотя и в них, несомненно, инкорпорированы фрагменты древних текстов). Должен Вам теперь признаться, что когда Вы ставили вопрос о составлении тематических указателей к работам Масперо и Шаванна, я втихомолку улыбался, т. к. это было уже сделано мной плюс Лерт и некоторые другие книги. Кроме того, я делал очень много выписок, в чем мне прилежно помогала моя бедная жена. Могу Вам теперь признаться, что в юности я хранил честолюбивую мечту написать историю древнего Китая вплоть до Ханей, причем историю фундаментальную, и по молодости лет не сообразовал своих сил с объемом работы. Только года за два до случившегося со мной несчастья я понял, что эта задача мне не по силам и решил использовать накопленный материал для ряда статей, но и этому помешала полная нагрузка в Университете (я имел часов больше нормы и к ним надо было готовиться) и обязанности техн. секретаря кабинета. Плюс Ши-цзин. К сожалению, во время блокады Ленинграда все мои записки и книги погибли до последнего листка, но в памяти удержалось многое, а главное, сохранился вкус эпохи. Мне бы и хотелось дать предисловие не только ко всему переводу, но написать еще три статьи для каждого тома, а именно: "Китай эпохи Ши-цзин'а", "Конфуцианская система в древнем Китае" и "Место Ши-цзин'а в конфуцианской системе и литературе". Хотелось бы выкинуть многие "якобы", которые я очень робко понасажал в предисловии и расширить аппарат примечаний. Дальше перечисленного мои желания пока не идут.

"Пока не идут..." Так выглядит серьезность научного энтузиазма, которую прежде всего ценил в ученом Алексеев, переходящая в одержимость — движущую науку одержимость. И после этого порыва в бесконечную перспективу творчества — резкий, как в симфонии, обрыв: возвращение в магаданскую действительность.

О своей жизни писать не хочется — слишком скучно. Местные пейзажи, хотя и горные, отличаются удивительным однообразием. Погода отвратительная, холодище, середина июня, а почки до сих пор не распустились. На сопках снег, только местами проталины. Впрочем, даже в редкие теплые дни в августе пальто снимать нельзя, погода меняется резко и буквально за 2—3 минуты. Примерно с октября по декабрь погода разнообразится ветрами, достигающими силы урагана и дующими дней по пять

подряд. В воздухе несется стена снегу и стоит визг, точно одновременно обдирают тысячу живых кошек. Идти по гладкой дороге, особенно по ветру, нельзя, ноги начинают скользить и ходьба переходит в бег, надо зайти в снег, чтобы сохранить равновесие. Ветер иногда бывает такой, что не только валит с ног, но бросает на воздух. Здесь, на Охотском побережье есть мыс "Пестрая Дресва", там ветер достигает особенной силы, ходят только держась за протянутые от здания к зданию веревки. Так вот там ураганом снесло в море бензобаки, врытые в землю и стоящие на фундаменте. Этому трудно поверить и вряд ли можно представить себе. Впрочем, мы все к здешнему климату применились и не обращаем на погоду особого внимания, но надоела она, конечно, очень. Хочется выкупаться в теплом море и полежать на песке, но нужно терпение. Извините за длинное письмо — хотелось с Вами многим поделиться. Спасибо большое за Ваши хлопоты обо мне...

P.S. Просил Вам передать привет А. Г. Шпринцин.

Штукин, Скачков, Шпринцин — в Магадане, а в Ленинграде и Москве некому работать над китайско-русским словарем... Вскоре, однако, "лед тронулся" — сохранилась знаменательная телеграмма Штукина [2, л. 24] с знаменательной опечаткой: "Получил выезд... надеюсь конце августа выдать вас лично..." Корректор по телеграфу все же, видимо, почуял неладное и предложил: "выдать вас лично а может выдать". И тот и другой вариант Алексеев подчеркнул жирным карандашом.

И вот где-то осенью 47-го Штукин оказался наконец в Ленинграде, так сказать, транзитом, чтобы тут же начать поиски пристанища где-нибудь в ста километрах от родного города — от семьи, от людей и книг, от дела — от "Ши цзина". Однако в письме, отправленном неизвестно откуда 1 ноября [2, лл. 25—27], горечь бездомности лишь в конце, а все письмо — четыре с половиной страницы — отклик на две статьи Алексеева: "Римлянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом мастерстве" (1944) и только что вышедшую — "Артист-каллиграф и поэт о тайнах в искусстве письма". Очевидно, при свидании Алексеев вручил Штукину отписки статей с дарственными надписями. Они сохранились, на последней статье: "Дорогому ученику и другу Алексею Александровичу Штукину поэту и знатоку китайской поэзии на суд и осуждение от автора-переводчика. 12 октября 1947". В письме Штукина и суд и осуждение, как всегда, без скидок-оговорок.

Внимательно и с большим удовольствием прочел обе Ваши статьи. Поэма Лу Цзи — это большое и прекрасное произведение, оно дышит поэтической непосредственностью и свежестью, оно оригинально и убеждает своей художественной искренностью. Этого качества я как-то не вижу в поэме Ян Цзинцзэна. С одной стороны, очень уж близко к Сыкун Ту и рассматривать

поэму отдельно от Сыкун Ту никак нельзя (это Вы и сами пишете), а с другой стороны, даже я усмотрел немало поэтических штампов, старых как мир, что, конечно, снижает достоинства произведения. <...> Некоторые образы прямо заимствованы из Лу Цзи. <...> Лу Цзи несравненно чище и искреннее, он говорит своими словами, а это, собственно, в первую очередь мы и должны требовать от поэта. Мне кажется, что по поэме о каллиграфе не сделана основная филологическая работа: не отделено чужое от инвенции самого автора и мы лишены возможности судить о значительности произведения. Правда, Вы об этом говорите во введении, но слишком уж кратко. <...> В целом же произведение интересно, и видно, что написано кистью мастера. <...> О поэме Лу Цзи скажу кратко: очень хороша. Многие образы запомнятся, вероятно, на долгие годы (строгий иней — прекрасно! я это понимаю в двойном смысле: на траве и в волосах, — не так ли?). Абзац 11 великолепен! [см. 9, с. 260—261] Много, очень много чудесных образов и сравнений, которыми пересытана вся поэма. Это настоящий большой поэт! Вашу идею сопоставления западной и восточной (китайской) литератур и включения последней в общий поток мировой культуры и мысли на равных правах, идею, которую Вы проносите через все свое научное творчество, я целиком поддерживаю и разделяю. Перевод обеих поэм сделан мастерски, с большим художественным вкусом и тактом, как то вообще свойственно Вашим переводам. Посетую только на присутствие таких слов как: штабеля, фигура, арьергард, банальный, оригинал, бравурный, кларнет, бельведер и т. п. В этом отношении, извините меня, Вы, кажется, неисправимы! Вы доносите до нас аромат древности, создаете настроение, и умеете это делать превосходно, и вдруг все летит вниз из-за одного действительно банального слова, поставленного вопреки всему стилю и произведения и перевода. Извините меня, но Вы поступаете просто варварски и никак не хотите с этим согласиться! "Факт, что" (стр. 157) просто ужасный факт! Это выражение распространилось в самом пошлом языке, и в поэтической речи просто режет уши. С ним я согласиться никак не могу — это нужно убрать непременно. <...> Вот и все, что я могу сказать, будучи совершенно безоружным и не имея ни одной книги.

Алексеев размашисто подчеркнул слово "варварски" и, можно не сомневаться, сделал это с улыбкой, никак не сердито — столь искренний протест против "варварского" введения иностранных слов в перевод древнего

текста полностью соответствовал той заповеди, которую не раз, наверно, слышал Штукин от него самого: "Личность должна быть устранена. Это очень трудно". Принцип независимости критики от личных отношений Алексеев всегда ценил и отмечал особо. Так, например, в характеристике С. Ф. Ольденбурга: "Все видели примеры его определенных выступлений против друзей во имя научной правоты, как бы ни были эти выступления им неприятны" [3, с. 20]. Что же касается "арьергардов, бельведеров и т. п.", то это все-таки, очевидно, дело вкуса и потому — вопрос открытый.

В конце письма — возвращение от филологии к действительности:

Несмотря на обещание включить в план будущего года мой Ши-цзин, я чувствую, что и эта моя надежда построена на песке. <...> Может быть, случится чудо и куда-нибудь в провинцию потребуется синолог, не забудьте тогда обо мне...

Чуда не случилось, синологи были не нужны провинции — и не только провинции. С декабря 1947 г. Штукин — учитель сельской школы в деревне Шалово — 3 км от Луги, 100 — от Ленинграда. Теперь он может бывать наездами в родном городе, нагружаться книгами, словарями, чтобы наконец работать над "Ши цзином". Но только в свободное время, а где его взять, когда он учитель по всем предметам, да и "материальные заботы отнимают слишком много времени", живет на "крайне скромную", а вернее, нищенскую зарплату. Чтобы хоть как-то ее повысить, просит Алексеева прислать подтверждение его педагогического стажа — более 12-ти лет: Университет Сунь Ят-сена, ЛВИ, ЛГУ [2, л. 30]. "К сожалению, перевод движется гораздо медленнее, чем бы я хотел... Надеюсь во время школьных каникул ускорить свою работу". И все же к письму от 15.II.48 [2, л. 17] уже приложен первый результат труда, до которого дорвался китаист-поэт-переводчик:

...Посылаю Вам на суд мой перевод одной из "малых од". По мере перевода других од буду их регулярно пересылать. Очень прошу Вас отмечать недостатки, т. к. Ваше суждение и Ваши указания я считаю наиболее авторитетными и наиболее ценными. Чем строже Вы отнесетесь, тем будет лучше!

Работа, что называется, пошла — следующая присылка уже от 8 марта [2, л. 32]:

...Посылаю Вам еще три малых оды (по моему разумению они больше похожи на песни из "го фын"). У меня переведено еще пять од, но не могу прислать, мешают птицы и растения, которых я с одним Позднеевым не могу определить. Меня выручает, то что Чжу Си очень легок и кроме немногих выражений понятен без словаря; помогает, конечно, и Куврер. Вот с рифмами плохо, т. к. не все рифмы Ши-цзин'а ясны в современном произношении. Я очень просил бы Вас и Виктора Морицовича

(Штейна) выделить мне что-нибудь из словарей и Легга (у него проделана вся работа с рифмами, хотелось бы их порядок сохранить).

Я был очень взволнован, прочитав в "Литературной газете" заметку о своем труде. Прошу Вас принять и передать всем, кому я этим обязан, мою признательность и благодарность, прежде всего В. В. Струве и Виктору Морицовичу (Н. И. Конраду я пишу). Надеюсь, что это будет знаменовать поворот в моей судьбе и в судьбе моего перевода. Очень прошу Вас выяснить с В. В. Струве возможность издания моего труда Институтом Востоковедения, т. к. вместе с заметкой в "Лит. газете" главное препятствие к этому, как мне кажется, отпало. Интерес, проявленный печатно к моему труду, снимает всякие возможные упреки с его издателей.

Этот абзац в письме отчеркнут карандашом Алексева — очевидно, хотел использовать его как аргумент в очередных переговорах с руководством. Казалось, погода понемногу проясняется — во всяком случае, всем хотелось в это верить. Письмо от 14 марта [2, л. 18]:

...Посылаю очередную порцию своих переводов. Теперь перевожу все подряд, начиная с первой главы сяо-я. Заметка в Лит. газете меня очень ободрила и повысила производительность моего труда. Не знаю, как качество переводов, об этом самому судить трудно. Надеюсь, что в скором времени услышу Ваше суждение. На мой взгляд сяо-я очень разнородны, часть их смело могла бы быть включена в го-фын и некоторая часть в Да-я. Лишь некоторая часть их имеет свою специфику. Это, конечно, отражается и в переводах. Все свое свободное время отдаю работе, когда кончатся школьные занятия, дело пойдет быстрее...

P. S. Из-за отсутствия конвертов в Луге вынужден был послать это письмо на 8 дней позже. Переведенные за это время стихи привезу Вам лично. 23.III.47.

(По рассеянности Алексей Александрович трижды поставил в дате вместо "48" — "47", что сбilo последовательность при архивной разборке писем.)

Летом 48-го грянул новый гром — болезнь, "легкое кровоизлияние". Длинное письмо без даты [2, лл. 36—43], почерк слегка поврежден.

...Около двух месяцев я провалился в Ленинграде, почти не поднимая головы. Месяц назад меня кое-как перетащили в Лугу, врачи прописали длительный отдых, но нужно было или начинать работать или уходить из школы, и жизнь заставила. Первое

время было очень трудно, теперь дело пошло немного лучше. Я преподаю русский язык в неполной средней школе, нагрузку взял минимальную — 2—3 урока в день. Если случается прозянаться два часа подряд, в мозгу возникает такое ощущение, как будто в голову запустили сотню мурашек. Это понемногу проходит, но очень медленно. Больше всего огорчает, что свою собственную работу я вынужден отложить, вероятно до весны. Я бы с великим удовольствием бросил школу и занялся бы Ши-цзином, тем более что всякие волнения мне категорически запрещены, а в школе они неизбежны. <...> Теперь мне хочется сказать несколько слов в свое оправдание по поводу Вашей рецензии...

Рецензия — это доклад Алексева 1 апреля 1948 г. на кафедре китайской филологии ЛГУ, напечатанный в виде автореферата в "Известиях АН" под названием "Предпосылки к русскому переводу китайской древней канонической книги «Ши цзин» («Поэзия»)" [см. 9, с. 499—500]. Перечитывая сейчас этот автореферат (доклад, конечно, был и пространней и эмоциональней), можно упрекнуть Алексева в излишней придирчивости: казалось бы, в данном случае можно было "в порядке исключения" эту придирчивость смягчить. Но это было бы не в правилах Алексева — и Штукина точно так же, оба были максималистами в стремлении к высшему качеству делаемой книги. "В свое оправдание" — это для усиления, обвинений не было. Но были разногласия, и тон, в котором они обсуждались — глубоко поучителен.

Вы знаете, что я очень высоко ценю и уважаю Ваше мнение и как знатока китайского языка и как превосходного мастера художественного перевода. Вы первый открыли нам красоту китайского стиха, <...> я всегда считал многие Ваши переводы для себя образцом. Мне, поэтому, было очень приятно, что Вы считаете мой перевод поэтическим и заслуживающим внимания как перевод серьезного китаиста. У меня есть только одно "но". Вы рассматриваете Ши-цзин как источник идеологии Конфуция. Это безусловно правильно, было бы смешно спорить с этим. Но вместе с тем Ши-цзин, хотя бы и в разрозненном виде, существовал и до Конфуция, и если оды в большинстве случаев проникнуты идеологией конфуцианской или близкой к ней, то этого нельзя сказать о целом ряде других произведений (в "Ши цзине"), которые осуждал и сам Конфуций. Принять конфуцианское морализирование по поводу этих произведений невозможно при поэтическом переводе, поэтому я трактую Ши-цзин в своем переводе как памятник древней китайской поэзии и только. Такие трактовки его существуют и в Китае, например у Ху Ши в его введении к истории китайской литературы. В исследовании, которое я собираюсь впоследствии сделать отдельно

от перевода, Ши-цзин, конечно, должен быть освещен и как памятник конфуцианства, учения в то время безусловно прогрессивного и великого по своему значению для Китая и его культуры. Основным дефектом моей работы является мое незнание с переводом Карлгрена. В Ши-цзин'е немало неясных мест, да и вообще, приступая к переводу я обязан был учесть то, что было сделано до меня. Но тогда этого перевода еще не было, а потом, Вы сами знаете, я не имел возможности следить за литературой... Надеюсь, что я получу теперь возможность по окончании перевода сверить его с Карлгренем и внести соответствующие поправки.

О том, что Ши-цзин не фольклор, свидетельствует достаточно ярко отдел малых од (обличение клеветников, советы царю, его прославления и т. д.); сличая с этим отделом го-фын, мы не найдем в нем существенных различий в архитектонике стиха, и это, на мой взгляд, доказывает наличие литературной обработки материала, имеющего своим истоком угнетенные классы народа. Конфуцианство было в это время оппозиционно и стремилось опереться на народ (ярче всего это видно у Мэн-цзы). Это, мне кажется, и отражено в переводе. Таким образом Ши-цзин, не будучи фольклором по форме, является народным памятником по содержанию и достаточно полно отразил в себе нравы, быт и чаяния народа. Я рад, что наши с Вами взгляды в этом вопросе, по-видимому, полностью сходятся. <...> По вопросу о ритме мне хочется сказать следующее. Я считаю, что передача ритма китайского стиха для нас недоступна. Ю. К. Щуцкий делал очень остроумные попытки передать китайский ритм, но все они оканчивались неудачно, китайский ритм в стихах не ощущался. Подойти ближе к китайскому ритму, чем Вы это сделали в "Голосе осени", нельзя. Мне до сих пор помнится и Ваш перевод и даже китайский текст, и мне казалось сначала, что здесь полное совпадение ритма... Однако это впечатление сразу пропало, когда китайский текст прочел китаец. А ведь Ши-цзин в его подлинном звучании прочесть некому. Я возражаю против того, что двусложные размеры якобы ближе к китайскому ритму, чем трехсложные. Арифметикой здесь ничего сделать нельзя, т. е. трехсложный анапест, например, ближе к двусложному ямбу, чем хорей. Если подходить с этой меркой к Ши-цзину, то наиболее близким был бы размер: Луна, балкон, // Она и он. — по четыре слога в строке. Это было бы невозможно и этого не выдержал бы ни переводчик, ни читатель. При невозможности пе-

редать китайский ритм "переводчику приходится самому создавать себе закон" (это слова М. Л. Лозинского из его отзыва на мой перевод), и я считаю наиболее правильным взять ритм, эмоционально идущий от передаваемого образа. Стихи Ши-цзин'а звучали и звучат торжественно для китайцев, их исполняли на придворных торжествах (не только оды, но и песни). Самая их краткость создавала впечатление величественности. У нас такое впечатление создают трехсложные размеры, присущие греческим и римским стихам, и, соблюдая эмоциональное единство, следовало взять именно размеры трехсложные. У меня в переводе есть все размеры, кроме хоря, кажется, но предпочтение я отдаю трехсложным и думаю, что это правильно. Размер в Ши-цзин'е почти везде одинаков, и я не нарушаю пропорций. <...> Что же касается нарушений ритма русского стиха, то здесь, я полагаю, простое недоразумение. В своем докладе в ИВАН в 1938 г. Вы привели два мнимых нарушения ритма. Одно из них я помню и сейчас:

Сорока свила для себя гнездо,
Голубка посéлится в нем.

Вы читаете поселится, а я посéлится; так же был и второй случай со скользющим ударением. Ритмами русского стиха я владею неплохо и это всегда могу доказать. Мне сейчас нечем это подтвердить, но в свое время (в 1925 г.) мое искусство владения ритмом получило очень высокую оценку К. И. Чуковского, если угодно, я когда-нибудь продемонстрирую переходы ритмов, еще не имевшие до меня места в русской поэзии. Я совсем не хочу хвалиться, но уверен, что в ритме у меня ошибок нет.

Ваше указание относительно фонетически использованных иероглифов попадает мне не в бровь, а прямо в глаз. Я согласен, что это очень частый прием в Ши-цзин'е, и я должен был его отразить непременно. Пересмотрю свой перевод и внесу поправки. Я сам уже об этом думал. <...> Что касается перевода названий глав, то я, конечно, не настаиваю на своем. Это не переводы, а краткие введения, сделанные в расчете на читателя некитаиста. Я и оговорил это в своем предисловии. Большинство китайских названий безразлично к содержанию и носит характер наших заглавий: "И скучно и грустно...", "Ты знаешь край..." и т. д. Они по характеру отличаются, конечно, от заголовков, например, к стапам Сыкуи Ту. Можно, я думаю, дать короткие заголовки и оставить в скобках мои подзаголовки в некоторых случаях. Я не помню, чтобы я где-нибудь вводил в

стихи диктаты комментаторов, наоборот, я очень часто борюсь с ними, считая их искусственными; но иногда я позволяю себе пояснить неясный для русского читателя образ.

(Признак зловещий:) здесь только лисица красна;
Воронов видишь, — здесь только их стая черна.

Значение этих образов в контексте бесспорно, но для русского читателя непонятно. Вводя слова "признак зловещий", я раскрываю образ, но не искажаю его и не дополняю, я этим, если хотите, нейтрализую экзотику образа, которой для китайца ведь и нет, но своего ничего не ввожу, т. к. это общие слова. Впрочем, и к этому я прибегаю в очень редких случаях. С "ризами" и "гаремом" я вполне согласен, их надо как-то заменить. И с "гармонией" я согласен, но ведь у меня нет материала для иного перевода этого слова, комментаторы и другие переводчики здесь единогласны, а в самом тексте это выражение, кажется, не повторяется. Быть может, мне поможет Карлгрен. Я тоже чувствую фальшивость этой строки, но не смею переиначивать. Что касается расхождений с текстом, то я всячески старался их уменьшить, но уничтожить их совсем при стихотворном рифмованном переводе вряд ли возможно.

С саранчой Вы напали на меня напрасно, я не желаю саранче "плодиться бодрее" (у меня в переводе таких слов совсем нет). Саранча используется только как образ плодородия (образ действительно свежий и сильный), так его понимает и Чжу Си и Лейт и я, предпосылая переводу подзаголовок: "пожелание плодородия женам" (помнится, именно так). Образ этот для русского читателя вполне приемлемый. М. Л. Лозинский выделил это стихотворение, как наиболее художественно сильное и даже мне сам его перечитал (читает он изумительно, я даже не узнал своего перевода) при второй нашей встрече, говоря, что оно ему очень понравилось. Стихотворение понято и дано иносказательно, хотя и очень выразительно. Конечно, мой перевод не дословен, и как Вы сами справедливо заметили, и не может быть таким, но усилий к тому, чтобы он был возможно более близким к тексту, я приложил немало.

Я не совсем понял Ваш вывод. Полагаете ли Вы, что я не стремлюсь к совершенствам переводов М. Л. Лозинского? Если это так, то я думаю, что в этом Вы не правы. Китайские ритмы ни я, да и никто передать не может, следовательно все внимание нужно было обратить на композицию стиха, на его архитекто-

нику. М. Л. Лозинский увидел эту сторону работы сразу и оценил ее в своем отзыве. Поверьте, что это стоило большого труда, и если сохранение китайской композиции (не во всех, этого я не сумел, но в очень многих стихах) не режет ухо, то в этом есть и моя небольшая заслуга. Это мои оправдания. <...> Прошу Вас спрятать это письмо с тем, чтобы впоследствии поговорить о нем.

Этот трактат, "оправдания", сообщение о болезни-бедѣ — все вместе, конечно, потрясли Алексеева. Ответ не сохранился, но тон его ясен по первой же строчке письма Штукина от З.ХІ.48 [2, л. 45—47] "Благодарю Вас за Ваше такое дружественное письмо, оно подняло во мне дух и очень ободрило". Удивительно и даже как-то завидно читать такое, видеть, как умели себя вести в науке ученые ушедшего поколения. Никаких ущемленных самолюбий, свобода в суждениях с соблюдением такта, искренность, не ставящая под удар дружеские чувства. "Искренний ученый" — излюбленное Алексеевым определение, едва ли не высшая по его шкале научная добродетель. Искренний ученый открыт, творит науку на виду своих братьев без страха критики извне и всегда исполнен самокритики, искренний ученый искренне, т. е. полно отдает свою научную силу своему делу, думает о деле — "думает без уклона", как сказано все в том же "Ши цзине". А. А. Штукин вне всякого сомнения заслужил высокое звание искреннего ученого, и, надо думать, оно было "присуждено" ему в пропавших письмах Алексеева.

В письме от 3 ноября продолжается тема предыдущего — реплики на рецензию Алексеева:

Работать над текстом мне все еще не дают, но думаю, что с января начну понемножку опять заниматься Ши-цзин'ом. Многие Ваши "нападки" я учту и приму к исполнению, как я Вам писал. Единственно с чем я не могу согласиться — это с необходимостью значительных изменений в размерах и ритмах. Список своих грехов я сам бы мог увеличить, вероятно, вдвое против Вашего, разбив их в основном на две группы: 1) грехи, вызванные недостаточной ясностью в самом тексте, 2) грехи, вызванные борьбой переводчика с текстом при обратном превращении текста в поэтическую речь, подчиненную жестким требованиям стихотворной композиции. Сохранение китайской архитектоники стиха (иногда по 6 и 8 рифм одинаковых в строфе) потребовало больших жертв в отношении точности перевода, иначе и быть не могло. Отсюда многие недостатки. <...> Китайская расстановка рифм у меня сохранена не везде, т. к. излишнее обилие рифм снижает их ценность, ибо приходится прибегать к рифмам шаблонным, а злоупотребление ими ведет к банальщине. Может быть, придется несколько увеличить количе-

ство стихов, в которых китайский порядок рифм не сохранен. Нужно установить какую-то грань, что в переводе (и в каком) допустимо и что нет, и переводчику труднее всего быть здесь самому судьей, поэтому я так страстно мечтаю о редакторе китаисте и одновременно художнике слова... Это для меня самое главное. Третьим источником моих недостатков является многообразие и многоавторство текста. Переводчик должен найти в себе ответные струны и настроиться в тон автору. При таком обилии авторов и тем это очень трудно, и это отражается на переводах. Поэтому я и думаю: вправе ли я давать полный перевод, или мне следует ограничиться изданием избранных переводов, наиболее удачных (а такие есть)? Это вопрос серьезный и не мне его решать. Надо только учесть, что я при переводе рассматриваю Ши-цзин как памятник древней поэзии и следовательно основным является художественность перевода. Поэзия должна быть поэзией.

...Желаю Вам от всей души: "Вань шоу у цзян!", главное, не болеть. Я никогда не думал, что наш организм может сдать так мгновенно и непоправимо! Не переутомляйтесь и берегите себя, маленькое перенапряжение может вызвать большую катастрофу. Я, увы, понял это тогда, когда уже получил урок.

Письмо отправлено с большим опозданием: не было конвертов, а наш Сырец в 18 км. от Лути.

В деревне Сырец, куда Леноблono еще летом перевело больного Штукина, он жил в церквушке, в которой помещалась школа, в какой-то келье под самой крышей.

Почти в каждом письме Штукина обсуждается, но никак не может решиться вопрос: где, в каком издательстве согласится печатать его перевод, его "Книгу песен". Заметка в "Литературной газете", казалось, должна была снять запрет с его имени, и, по логике вещей, издавать должен был ИВАН, возобновив договор 38-го года. Одновременно с участием В. М. Штейна обсуждалась также возможность издания книги Университетом. Тут была надежда на помощь проректора биолога Ю. И. Полянского, друга Штукина с детства (вместе учились в гимназии Петра Великого). Но летом 1948 г. состоялась позорная на весь мир сессия ВАСХНИЛ, и надежда на Полянского рухнула: "Теперь, в последних биологических битвах он сам, кажется, получил тяжелые ранения и вряд ли сможет помочь", — пишет Штукин в том же письме от 3 ноября. Действительно, Полянский был изгнан из ЛГУ, уехал на далекую биологическую станцию за Мурманском — и это, возможно, его спасло: в 49-м он вполне мог бы быть причислен к "делу" ректора Вознесенского. Юрий Иванович Полянский умер летом 93-го, пережив своего сверстника и друга на 30 лет.

Письмо от 30 декабря [2, л. 50], канун нового года — 1949-го. В этом наступающем Штукина ждет повторный арест, Алексеева — повторный шквал травли (первый — в 38-м) с угрозой изгнания из АН.

С новым годом, дорогой Василий Михайлович! Простите, что, не имея новогодней открытки, пишу Вам на таком скромном листке. Надеюсь, что новый год принесет Вам и мне больше радости, чем его предшественник. Пожелаю Вам закончить в этом году словарь и заняться исследованиями в области китайской поэзии, которая Вам, конечно, как и мне, больше по душе. Пожелаю еще издать хотя бы часть Ваших замечательных переводов, которые без сомнения найдут своих ценителей, и этим усилить внесенную Вами в русскую синологию мощную струю подлинно научного творчества, насыщенную ароматом древней культуры, яркую и сверкающую. Надеюсь, если позволите, увидеть Вас в период от 5 до 9 января, во время моего приезда в Ленинград. Прошу передать мой поклон и поздравления Наталии Михайловне. С сердечным приветом

Ваш А. Штукин

Характер наступившего года не замедлил сказаться: уже в феврале Штукин пишет из деревни Пяля Капшинского района, далеко за Тихвином, куда теперь перевело — забросило — облоно [2, л. 51].

Ваше письмо получил, чрезвычайно благодарен Вам за Ваши хлопоты обо мне. Если бы дело с продажей рукописи удалось, было бы прекрасно. Я мог бы тогда оставить школу и заняться своим делом. Что касается Вашего совета сохранять равновесие, то трудно ему следовать, когда столь часто судьба дает пинка под место, "о котором не говорил Конфуций". Если у чорта есть где-нибудь "кулички", то я за последние годы являюсь их непременным аксессуаром. Лен. Облоно перевело меня в другой район, где не хватает учителей, и теперь я нахожусь в 85 км. от Тихвина, а Тихвин в 8 часах езды от Ленинграда. От Тихвина нужно ехать 70 км. автобусом до Шугозера и еще 15 км. лошадью до моей школы.

Все же равновесие сохраняется, несмотря на столь увесистый "пинок": тут же, даже не начиная с новой строки, Штукин пишет о том, как идет перепечатывание рукописи перевода (это дело взяла на себя его сестра Надежда Александровна) и т. д. Дух не сломлен, работа продолжается. Очевидно, Алексеев со своей стороны тоже не оставлял стараний, что видно по письму Штукина от 11 марта [2, л. 52].

...Вчера получил Ваше письмо от 5.III. Вне зависимости от результатов Вашего ходатайства, прошу Вас принять мою глубокую и искреннюю благодарность. Будем надеяться, что оно будет иметь благоприятные результаты. Но даже если этого и не случится, помощь друзей всегда огромная моральная поддержка и большое утешение в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, и это самое главное. Без такой помощи и сочувствия, которые я неизменно встречал со стороны близких мне людей, я, право, не пережил бы всего того, что со мною было.

Через три дня снова письмо с сообщением о перепечатывании рукописи и представлении ее в ИВАН: вторая часть готова, первая срочно перепечатывается ("Я боюсь ее сдавать до перепечатки, т. к. не исключена возможность того, что она вместо Отдела рукописей попадет в стол Боровкову и потонет в нем, а имеется всего один экземпляр"), из третьей части переведено примерно полторы главы. "Предисловие я решил переработать совершенно и пока воздержаться от его представления. К осени я думаю представить всю работу целиком. Само собой разумеется, что все редакционные замечания я принимаю безусловно..." Вот такой темп и такой пыл работы даже в шугозерной глухомани. И никаких жалоб, проклятий. Об условиях житья — лишь в последнем, оказавшемся заключительным письме Алексея Александровича от 30.V.49 [2, лл. 55—57], и то — в конце.

Простите меня за долгое молчание, но моя работа сдана в Институт всего дней десять тому назад, а я все ждал сообщения об этом.

Рукопись будет передана на рассмотрение китайского кабинета без авторской правки. В настоящее время я правлю один из экземпляров, учитывая Ваши указания в рецензии. <...> Дорогой Василий Михайлович, Вы сейчас единственный филолог в кабинете, и я надеюсь, что Вы защитите право на существование художественного перевода древнейшего памятника китайской поэзии, перевода, который не ставит никаких других претензий. Я думаю также, что он имеет право и на издание Академией Наук, которая издает для широких читательских кругов русских и иностранных классиков в подлинниках и в художественных переводах. Я не понимаю, почему именно китаистов нужно убеждать в том, что художественный стихотворный перевод имеет такое же право на издание и что стихотворный перевод совпасть с точным никак не может. Я предвижу однако, что Вам будут сделаны именно эти возражения. Я прошу кабинет учесть, что решение о напечатании моей работы уже было принято кабинетом и ученым советом и издательством, и сейчас, следовательно, речь идет не о новом решении, а о подтвержде-

нии прежнего решения. Кроме того, я полагаю, что теперь, когда все взоры прикованы к Китаю, издание памятника китайской народной поэзии (хотя и подвергшейся литературной обработке), имеющего во многих отношениях приоритет перед другими древними литературными памятниками (это вероятно первые рифмованные стихи в мире), явится делом особенно политически актуальным. Вот основные мои доводы в защиту своего перевода. Вообще же мне кажется, что пора бы заняться не только экономическими "корнями" китайской культуры, но и, наконец, познакомить публику с ее плодами. Мне кажется, что самая история народа начинается с того момента, когда начинается его культурная жизнь, а все предшествующее ей должно носить название доисторического существования. С этой точки зрения памятники литературы и искусства должны представлять наибольший интерес. Возобновил свои занятия Ши-цзин'ом. До сих пор не имел возможности этого сделать, т. к. обстановка здесь очень трудная. К детям мы должны предъявлять требования, предусмотренные общегосударственной программой, а уровень подготовки здешних детей очень низок. Русское население перемешано с вепсами и местный говор ужасен. Приходится много работать дополнительно. Если бы я был этнографом, то мог бы собрать много любопытного. Во всем селе у кошек обрублены хвосты, чтобы уберечься от гадов, которые "ползут за кошачьими хвостами в дом". Существуют сглазы, наговоры, заговоры, "словесные гады", которые "сосут сердце" и т. п. Чтобы дети усвоили программу неполной средней школы, почти каждому учителю приходится тратить вдвое больше времени, чем это предусмотрено по плану, заставляя их уроки готовить в школе и т. п.

Хотелось бы знать, взошли ли в ком-то из пядьнинских ребят те семена, которые со своей неизменной добросовестностью старался посеять в их целинных, не тронутых культурой головах этот заезжий чужак-учитель, синолог высокой и редкой квалификации. Главные всходы — это не случайно застрявшие в мозговых извилинах обрывки знаний, а те, что прорастают в темной глубине душевной, а потом движут человеком. Хочется верить, что дополнительные уроки Алексея Александровича, самый звук негромкой интеллигентной речи, мягкая, но упорная настойчивость, весь образ человека измученного, но незабитого и неозлобленного — все это не могло пройти без последствий.

Последний абзац этого последнего письма также дает поводы для размышлений:

...Выходит ли китайско-русский словарь? Принимается ли на него подписка? Есть ли что новое в Институте? Самый главный вопрос: не измените ли Вы своего решения и не возьметесь ли редактировать мой Ши-цзин, если ему суждено будет увидеть свет? Я бы очень желал этого!

Огромная работа над большим китайско-русским словарем, о котором упоминалось и в предыдущих письмах, задавила последние два года жизни Алексева, похоронив под собой его мечту: успеть реализовать те 200—300, по его подсчету, монографий, основанных на его собственных, сделанных во время войны переводах, которые предназначались для "построения сравнительной истории китайской литературы как литературы мировой" [3, с. 317]. Словарь (первый том) вышел лишь в 1983 году и без имени Алексева среди участников-составителей (но "зато" с посвящением ему).

"Самый главный вопрос" — последний, обращенный к Алексеву. Очевидно, при личных свиданиях Штукин просил Алексева быть редактором его перевода, но Алексеев не решался. Не в его правилах было дать согласие на имя главного редактора, ничего при этом не делая, а настоящая редактура, тщательная аналитическая сверка с текстом требовала и времени и сил, которых уже не было. Но Штукин просил, и эта настойчивость достойна уважения: он знал, что Алексеев был бы редактором самым придирчивым из всех возможных, самым беспощадным — и "очень желал этого!", обрекая себя на неизбежные доработки-переработки, которых не было бы при "добром" редакторе — снисходительном и равнодушном. Штукин действительно работал против себя — за рождающуюся книгу.

И еще одно дополнение к этому последнему абзацу, восстанавливающее нарочито сделанную купюру — две фразы, которые теперь выделяю особо: "В Ленинград, вероятно, этим летом не приеду. Книги у меня здесь, и я все лето хочу посвящать работе". Следует добавить и постскрипtum к письму: "Исправленный экземпляр перевода будет выслан в Ленинград в самом ближайшем будущем. Но я думаю, что кабинет может составить свое суждение о переводе и по тому экземпляру, который представлен в настоящее время". Дата письма — 30.V.49.

В архиве Алексева сохранилась повестка на заседание секции литературоведения ИВАН, первый доклад Алексева: "О поэтических переводах китайской древней поэзии и о русском переводе Ши-цзина А. А. Штукиным". "Заседание состоится 29 июня 1949 г., явка членов секции обязательна" — гласит повестка. Для Штукина явка была уже не обязательна, 17 июня он был повторно арестован. В трудовой книжке отметка: "17 июня 1949 — освобожден от работы". Следующая отметка: "17 декабря — Норильский комбинат, принят на должность с/х рабочего". 1 февраля 1950 г. в книжке зафиксировано повышение: "назначен бригадиром огорода". 12 июня 1954 г. — "уволен ввиду отъезда".

В письмах Алексея Александровича все, как мы говорим, по делу, никаких воплей и проклятий — таков жанр трагедий нашего времени, трагедий без котурн. И хотелось бы, так же не становясь на котурны, спросить Алек-

сея Александровича: смог бы он выдержать все, что выдержал, если бы не были при нем, в его неотказавшей, непромерзшей памяти строки "Ши цзина", всего того, что нельзя отобрать при шмонах?

Пока я готовила эту публикацию, читая и перечитывая письма Алексея Штукина, не раз вспоминала "Песнь моему прямому духу" Вэнь Тяньсяна — и не по литературной, а по самой, что называется, прямой ассоциации. В XIII веке в Китае поэт, заточенный в "слякотно-мерзкую яму", черпает силы в том, что: "...книгу раскрывши, читаю, // и древняя правда // светит мне прямо в лицо" [9, с. 384]. Такой книгой вполне мог быть, должен был быть "Ши цзин" — начало всей китайской поэзии. Стало быть, Вэнь и Штукин черпали силы из одного источника. Китай и Россия, век XIII и век XX — какая разница... Впрочем, разница есть: при хане Хубилае узнику поэту Вэню разрешались книги, о чем не мог и мечтать ээк поэт Штукин при своем российском хане.

А. А. Штукин вернулся в Ленинград летом 1954 г. Новая трудовая книжка: "С 22 сентября 1937 г. числится в штате филфака ЛГУ в должности доцента". Семнадцати отнятых лет как не бывало... Через год, 19 сентября 1955 г. — последняя отметка: "освобожден от занимаемой должности". Причина "освобождения" — второй инсульт.

В компенсацию за 17 загубленных и загубивших здоровье лет государство одарило А. А. Штукина комнатой (в его квартиру на Петроградской въехали в конце войны какие-то мерзавцы, давшие взятку; жена и дочь, вернувшись из эвакуации, получили взамен комнатенку — бывшую "людскую"). Злая судьба и тут, как мелочная баба, послала ему соседей по коммуналке — супружескую пару подонков-алкашей, которые из классовой, что ли, ненависти к интеллигенту бросали к его двери грязные ботинки и, уходя утром на работу, оставляли радио орать на полную.

А он работал — научился писать левой рукой, правая висела на перевязи. Долгожданную, стоически выстраданную книгу "Ши цзин", вышедшую в 1957 году, Алексей Александрович, даря ее близким людям, подписывал левой рукой. А гонорар за перевод расходовал осторожно: как необходимую добавку к нищенской пенсии инвалида II группы. Он умер 30 марта 1963 г.

Но можно ведь посчитать и так, что Штукину "еще повезло": вернулся хоть напоследок к семье, успел увидеть внуков и полюбить их, взял, хотя и одной рукой, свою новорожденную книгу... Рядом были судьбы куда страшнее. В мартирологе расстрелянных и сваленных во рвы Левашовской пустоши в 37-м — 38-м годах, который публикует "Вечерний Петербург", в списке, напечатанном 4 ноября 1993 г., Алексей Александрович, доживи он до этих лет, встретил бы имена друзей и коллег: уже названных выше Н. А. Невского и его жену, Б. А. Васильева, П. И. Воробьева, а также ассистента ЛГУ корейца Тэн-Хан-Лина, китайца-лектора ЛВИ Пухова (его настоящее имя неизвестно), упомянутого в одном из писем [2, л. 58—61]. Имя другого лектора-китайца Фу Мина, который в письме аттестуется как лучший, расстрелянного месяцем позже (декабрь 1937-го), попало в список, опубликованный в газете от 14 июня 1994 г. Порядковый номер Фу Мина — 9052. А сколько еще тысяч, десятков тысяч впереди... Штукин вполне мог разделить эту участь. Как, впрочем,

М. В. Баньковская. "Ши цзин" и судьба

все, как каждый. Алексеев ждал ареста, особенно после исчезновений — изъятий из жизни его учеников, одного за другим. Ждал, хотя не читал, не мог прочесть доносы, которые катал на него ученый секретарь ИВ Х. Муратов, где одним из главных "преступлений" и было воспитание "врагов народа".

"Ши цзин" в переводе А. А. Штукина издан трижды. Первые два издания: академическое — полный перевод, 300 песен — вышел в 1957 г., и в том же году в "Художественной литературе" — "Ши цзин. Избранные песни". В отличие от академического, в этом издании есть Послесловие переводчика, в котором изложены главные установки поэта-синолога. В конце Послесловия читаем: "Заканчивая подготовку своего труда к изданию, переводчик с благодарностью вспоминал своего учителя академика Василия Михайловича Алексеева, открывшего ему путь к работе над «Книгой песен», не оставлявшего его своими советами и критическими замечаниями во время работы и многим содействовавшему успешному ее завершению. Переводчик считает своим долгом выразить благодарность профессору Николаю Иосифовичу Конраду, оказывавшему переводчику неизменную помощь от момента замысла этой работы до выхода ее в свет. Переводчик благодарит также свою сестру Надежду Александровну Рувинскую, принимавшую постоянное и значительное участие в настоящем труде" [10, с. 277].

По понятным причинам в предисловиях к этим двух первым изданиям 1957 года ничего не могло быть сказано о судьбе переводчика и его труда. Но как можно было не сказать об этом в третьем издании, которое вышло в "Художественной литературе" в 1987 году под редакцией и с предисловием Н. Т. Федоренко?! Уму непостижимо. О переводчике вообще ни слова, даже о характере, стиле его работы. На титуле: "Перевел с китайского А. Штукин". И все. Точка.

Как помнит читатель, вместе с письмами из лужских деревень Штукин посылал свои переводы, порцию за порцией. В архиве Алексеева сохранились почему-то только три песни [2, лл. 33—35]. Первая — "Песня о воине, изнемогшем в походе" [II, VII, 10]:

Желтая иволга песню поет,
Села она у излучины скал.
"Путь нам далекий, далекий лежит, —
Как поступить мне? Я слаб и устал".
Дайте воды, накормите его,
Дайте совет, научите его!
Кто же обозным приказ передаст,
Скажет: в повозку возьмите его!

(Вот он, тот эмоционально найденный ритм, о котором говорил Штукин. Тут и эмоция отчаяния, и эмоция доброты, и эмоция красоты...)

Желтая иволга песню поет,
Села внизу у холма на пути.
"Смею ль бояться походных трудов, —
Страшно, что мне до конца не дойти".

Можно сказать, что Алексей Александрович Штукин сумел вопреки, наперекор всему дойти до конца: русский "Ши цзин" навсегда срашен с его именем. Но сколько было задумано и начато трудов, до которых не дали дойти!

Дайте воды, накормите его...

И того проще: не мешайте! Дайте Человеку исполнить Богом данное предназначенье.

Литература и источники

1. Гинзбург Л. Я. Еще о старом и новом. (Поколение на повороте). — Тыняновский сб. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986.
2. Штукин А. А. Письма В. М. Алексею. 21 сент. 1926 — 30 мая 1949, б/д. Из Москвы, Луги, п/о Пяля Лен. обл., Магадана. 32 п., 1 откр., 1 тел. ПФ АРАН, ф. 820, оп. 3, № 898.
3. Алексеев В. М. Наука о Востоке. Ст. и док. М.: Наука, 1982. — 535 с. — Библиогр.: 1048 назв.
4. Алпатов В. М. Н. А. Невский. — Изв. АН, серия Лит. и яз., том 52, 1993, № 6.
5. Маяковский В. Собр. соч. в 12-ти т. — М., 1940, т. 5.
6. Докладная записка о работе ЛВИ (1931). (Уч. комитет ЦИК СССР) ЦГАОРС, ф. 7668, оп. 1, д. 273.
7. Васильков Я. В. Встреча Востока и Запада в научной деятельности Ф. И. Щербатского. — Восток—Запад. Вып. 4. М., 1989.
8. Новичев А., Кокин М., Смирнов Д. Против реакционного востоковедения. — Проблемы марксизма, 1931, № 8—9.
9. Алексеев В. М. Китайская литература. Избр. тр. М., 1978.
10. Ши цзин. Избранные песни. Пер. с кит. А. Штукина. М., 1957.
11. Алексеев В. Классическая поэзия древнего Китая. — Книжные новости, 1938, № 5.
12. Личное дело акад. И. Ю. Крачковского. АРАН, ф. 411, оп. 3, д. 121.